

**ЭМИГРАЦИЯ VS СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА:
ДИАЛОГ В КОНТЕКСТЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ РОССИИ**

**EMIGRATION VS SOVIET LITERATURE:
A DIALOGUE IN THE CONTEXT
OF INTELLECTUAL HISTORY OF RUSSIA**

Нина Осиповна Осипова
Вятский государственный университет,
Киров, Россия

Nina Osipovna Osipova
Vyatka State University,
Kirov, Russia

Аннотация

В статье рассматриваются основные тенденции оценки советской культуры и литературы критикой русского зарубежья 1920–1930-х гг. В основу предложенного историко-культурного подхода положен принцип диалогичности, который базировался на основных доминантах национальной модели культуры: литературоцентризме, дуальных моделях ментальности, представлении о единстве и целостности русской культуры, опоре на традицию русской интеллектуальной истории XIX в.

Ключевые слова: диалог культур, бинарные модели культуры, советская литература, критика русской эмиграции.

Abstract

The paper examines the main trends in the evaluation of Soviet culture and literature by the Russian émigré critics of 1920–1930's. The author applies a historical and cultural approach based on the principle of dialogism, which in its turn rests on the main Russian culture dominants: literature centrism, dual model of mentality, unity and integrity of Russian culture, and Russian intellectual tradition of the 19th century.

The émigrés' reflection on Soviet literature is analyzed in terms of identity search and deep genetic essence of Russian culture and its system of values.

The dialogue was mainly evolving in the sphere of literary criticism and journalism. We traced the connection between émigré and Russian

democratic criticism of the 19th century (Herzen, Saltykov-Shchedrin, etc.), which is particularly reflected in the dispute in the journals of the 19th and early 20th centuries. The excerpts from various critical articles and reviews of this period demonstrate the common approach of their authors to the analysis of literary phenomena. Having studied the articles from émigré and Soviet newspapers and journals (A. Bem, G. Adamovich, R. Gul, F. Stepun, J. Sazonova, etc.) the author comes to a conclusion that the Russian literature and the Russian criticism on both sides of the border though opposing and polemical, in fact show historical integrity and mutual attraction. One of the factors determining these reciprocally exclusive trends in the criticism of Soviet literature is the development of relativism, which overall characterizes Western European mindset.

The analysis of the publications in the journals *Sovremennye Zapisky* (*The Modern Notes*), *Russkie Zapisky* (*The Russian Notes*), and *Tchisla* (*The Numbers*) demonstrates that traditional emigration model “one’s own — alien” was gradually transforming into “one’s own — another”. There is a tendency to understand, and sometimes justify the Soviet art. Special attention is paid to the articles with serious analysis of Soviet literature, its topics, poetics, and genres. The traditional standpoint of the émigrés has evolved from ideological labeling to serious and thoughtful analysis, thus developing scientific criteria in further deep analysis of Russian and Soviet literature by G. Nivat, M. Aucouturier, J.-C. Lanne, N. Struve, V. Losskaya, C. Clarke, J. Soumela, S. Gartsiano, etc.

Key words: the dialogue of cultures, binary models of culture, Soviet literature, the Russian émigrés criticism.

Введение. Удерживая в поле внимания обозначенный в названии статьи вектор исследования и предложив характеристику основных дискурсов, связанных с рефлексией советской литературы русской эмиграцией, мы сочли возможным поразмышлять над этими проблемами в контексте генезиса их философских и историко-культурных основ. Можно выделить по крайней мере три важных категории в смысловом поле данного феномена, с которыми связана формулировка темы: «диалог», «национальная идентичность», «русская интеллектуальная история».

Актуальность и новизна предложенного подхода определяются ракурсом исследования — вектор литературной критики русского зарубежья вписан в пространство русской интеллектуальной истории, что позволяет установить связь с традицией литературно-критической мысли XIX в.

Методология. В обозначенном контексте представляется значимой метафора «корни и крона», репрезентирующая сразу два полюса проблемы (как системную дихотомию явления и как соотнесенность понятий «источник — следствие»). Эта метафора неоднократно встречается в разных вариациях, начиная с Гиппократов, сравнивающего болезнь с деревом, у ко-

торого есть корни — причина любой болезни, и крона — ее следствие). Этот образ в очерке о С. Волконском («Кедр») использовала М. Цветаева, которой близка мысль А. Белого, подчеркивавшего, что «акт революции двойствен; он — насильствен, он — свободен; он есть смерть старых форм; он — рождение новых; но эти два проявлянья — две ветви единого корня <...>» [Белый: 301]. Заметное место эта метафора занимает и в исследованиях исторических (в том числе и историко-культурных) процессов, когда речь идет об их генетической природе.

Методологическое основание концепции базируется на теории дуальных структур и бинарных моделей культуры (Вяч. Вс. Иванов, Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский), теорию диалогизма М. М. Бахтина и «диалогического персонализма» М. Бубера), семиотику зеркальности и зеркальных систем в культуре (Л. Н. Столович).

В связи с этим проблему рефлексии эмиграцией советской литературы и Советского Союза необходимо рассматривать в двойном аспекте: как проблему поиска собственной идентичности и как проблему, восходящую к глубинной генетической сути русской культуры, языка и в конечном итоге той системы ценностей, которая связана с аксиологическими основами. Об этом, собственно, размышляла и вся русская литература, пытаясь заглянуть в тайну русской души. При этом вопрос об идентичности (кто мы? где наши истоки?) остро стоял как в среде эмиграции, так и в метрополии, потому что идентичность придает жизни человека осознанный и предсказуемый характер (не случайно эта проблема волновала всех историков и философов русской эмиграции — Г. Вернадского, Г. Федотова, Н. Бердяева и др.): почему Россия «самая безгосударственная и самая анархическая страна в мире» и одновременно «самая государственная и самая бюрократическая»? [Бердяев: 4, 6]. Эти противоречия новой русской литературы в ее отношении к обществу и строю пыталась осмыслить эмигрантская критика, отмечая одновременное стремление к противоборству с властью и попытки вписаться в новую власть (в этой связи Г. Струве упоминает творчество наиболее заметных советских писателей [Струве 1996]). Историко-философские работы вышеназванных представителей русской эмиграции являются отправной точкой для методологической базы исследования. Кроме того, в работах современных отечественных и зарубежных историков культуры [Кондаков 2003; Кондаков 2008] и эмигрантологии [Коростелев; Сорокина; Нива], освещающих особенности функционирования двух ветвей русской культуры XX в., рассматриваются сложные процессы их взаимодействия.

Основная часть. В острый период культурного раскола (что характерно для всех переходных эпох) определяться с идентичностью возможно только находясь в контексте диалога, причем обе ветви культуры воспринимали

провокационную напряженность этого диалога, отличавшегося болезненностью, непримиримостью, гипертрофированностью, предельной экспрессией. В то же время культурной основой этого диалога был эффект зеркальности: «Что мы хотим увидеть и что мы видим, смотрясь в зеркало? Другого? Или самих себя? Или себя как другого? Или себя как Чужого? Или Чужого как себя?» Вечный вопрос пушкинской сказки: «Я ль на свете всех милее?» — приобрел поистине онтологический смысл.

При всей жесткости и непримиримости оценок эмиграция и метрополия пристально всматривались друг в друга — эти две ветви одного корня и одной культуры, разделенные революцией и гражданской войной на ценности прошлого и ценности будущего.

Философское «ядро» подобного отражения очертил в своем позднем эссе «Человек у зеркала» М. Бахтин, связав его с «диалогической моделью ближнего»: в зеркале личность воспринимает не себя, а тот образ, который она хочет продемонстрировать другому. В этом плане *Другой* — это внутренняя икона *Я*, а в ситуации кризисных и переходных эпох феномен *Другой* трансформируется в феномен *Чужой*. В человеке перехода обострено стремление к идентичности (через всматривание в себя), отсюда и проблема зеркала как собственного бытия: оно себя фиксирует через неравность себе и «невозможно отличить — я ли это или мой минотавр, мой подпольный человек, мой черный человек» [Бахтин: 240]. Подобное стремление к взаимоупору антиномичных явлений, по мнению С. Аверинцева, — это наследие Византии, ставшее органичной чертой российской культуры, придающей ей в то же время целостность: «Вообще говоря, всякая культура живет сбалансированным противоборством противоположностей... Чем выделяется ранневизантийская культура, так это тем, что в ее кругу крайности особенно контрастны, а их приведение к единству особенно парадоксально» [Аверинцев: 239].

Не случайно в откликах эмиграции на советскую литературу нередко обращение к метафоре «зеркала»: «<...> все эти рассказы и очерки <...> для зарубежного читателя — зеркало, отражающее далекую Россию. Пусть зеркало отражает ее тускло или извращенно, пусть эти зарисовки бледны или лживы — зарубежный читатель жадно в них вглядывается. Занятие это порою мучительно...» [Цетлин: 483].

Оппозиция «свой — чужой» в системе самоидентификации русской эмиграции.

На первом этапе русская эмиграция идентифицировала через советскую литературу себя, а не другого, накладывала стереотип своего опыта на другого (чужого), вместо понимания этого другого. Этот эффект Ж. Делез назвал (правда, совсем в другом контексте и по другому поводу) «симулякром понимания», когда в стремлении «<...> объяснять, развивать мир, выраженный другим, ради участия в нем либо его опровержения (я разво-

рочиваю испуганное лицо другого, я развиваю его в страшный мир, чья реальность меня поражает, или чью ирреальность я выявляю)» [Делез: 315]. Трагический раскол российской цивилизационной идентичности на Россию советскую и Россию зарубежную имел характер в большей степени социокультурного и геокультурного сдвига, а не сущностного. Этот процесс и обусловил мучительные метания русской эмиграции между разрывом с метрополией и стремлением к сохранению единства. Еще Г. Флоровский писал в свое время, что «завязка русской трагедии сосредоточена именно в факте культурного расщепления народа» [Флоровский: 270], а Г. Федотов, характеризуя парадоксальное восприятие *русскости* в эмигрантской среде, применил к русской ментальности метафору «двоецентрия», «двухжелткового яйца», «эллипса с двумя разнозаряженными центрами» [Федотов: 173]. Примечательно в связи с этим и вынесенное в качестве метафоры в заголовок книги Р. Гуля полузабытое слово «одвуконь», имеющее такой же смысл [Гуль 1973].

Наиболее последовательно бинарная логика русского национального сознания реализовалась в таком «метаисторическом свойстве русской культуры, как литературоцентризм, — упорном тяготении культуры в целом к литературно-словесным формам саморепрезентации» [Кондаков 2008: 5]. Примечательна в связи с этим фраза Бунина о том, что в нынешней ситуации виноват «литературный подход к жизни», который «отравил нас» [Бунин: 119]. О литературоцентризме как доминанте культурного сознания писал в связи с полемикой и Ф. Степун, подчеркивавший, что именно в пространстве литературы «<...> разрешались и социальные, и политические, и моральные, и даже религиозные вопросы. Она была одновременно и предпарламентом, и как бы церковью русской интеллигенции» [Степун 2002: 264]. В то же время автор предупреждает, что нельзя призывать эмиграцию, «<...> самую судьбою поставленную на страже духовной свободы творчества, к политизации искусства, ради борьбы с большевиками <...>» [Степун 2002a: 246–247].

В диалоге эмиграции с советской культурой последняя воспринималась сквозь призму образа Чужого. Основным пространством этого непростого диалога стали литературная критика и публицистика, и в попытке понимания и преодоления антиномии «свой — чужой» формировалась ситуация «взаимоупора». Не принимая «Совдепию» с ее большевистским режимом и геноцидом собственного народа, эмиграция столь же неистово не приняла и ее культуру. Правда, в пространстве сознания эмиграции советская литература, начиная примерно со второй половины 1930-х гг., раздвоилась на две «ветви» — собственно «советскую» (постреволюционную) и тоталитарно-государственную, литературу «лозунга-пароля». Весь драматизм этого понимания опять-таки формируется бинарностью русской культуры, в основе которой лежит дуальное сознание и дуальные структуры (при-

чем без переходной зоны), которые создавали баланс разнонаправленных векторов культурно-исторического развития, или целостность антиномии. И, как это следует из исторического опыта, в эпоху исторических сдвигов бинарная логика оказалась более выраженной. Это отчетливо продемонстрировала ситуация притяжения — отталкивания даже на уровне равновеликих по силе и мощи художественных систем — М. Цветаевой и В. Маяковского (см.: [Полехина]).

Возвращаясь к метафоре «корни и крона», следует подчеркнуть, что подобный тип противостояния и неприятия двух литератур (эмиграции и метрополии) восходит к традиции, в которой литературно-эстетические тенденции всегда переходили в идеологические или сопровождались ими... Еще в XIX в. П. Вяземский говорил, что литература превращается в средство и орудие, роль которого играют литературная критика и публицистика. По аналогии с известной фразой, ошибочно приписываемой Достоевскому, «все мы вышли из гоголевской “Шинели”» о русской литературной критике XX в. можно сказать: «вся она вышла из критики XIX в.», которая всегда была в России гораздо большим, чем разговор о литературе.

Уже русская демократическая критика (Белинский, Чернышевский, Добролюбов) балансировала на грани идейного деспотизма и духовной диктатуры (пусть даже с самыми высокими и благими целями). В связи с неразвитостью парламентаризма, легальных политических сообществ свобода слова в России всегда понималась как «свобода печати», а острые идеологические и политические проблемы переносились на страницы литературных произведений или оформлялись в жанрах эссе, «писем к другу», «писем к читателю» и др. Все это провоцировало непримиримость оценок, когда вопрос о художественности сопровождался нападками на представителей эстетической критики и «теории чистого искусства» (классический пример — обличительные статьи в «Современнике»), а размышления о литературе неизменно перерастали в идеологические дискуссии (как, например, в журнальной полемике о творчестве Достоевского, Тургенева, Чернышевского).

Одновременно свойственные отношению к литературе острота и резкость полемического «задора» критики «извне» и «изнутри» свидетельствуют о непримиримости сторон. Так, Н. Щедрин (Н. Е. Салтыков-Щедрин) отзывается о статье Ф. М. Достоевского «Щедродаров, или Раскол в нигилистах»: «<...> я ощутил только чувство глубочайшего омерзения к перу, излившему зараз такую массу непристойной лжи <...>» [Щедрин: 245]. В другом публицистическом выпаде в адрес Достоевского он выражается еще резче: «<...> все ваше русское есть не более как арбузные корки, выкинутые вам покойною “Русскою беседой” за ненадобностью <...> в вас только и есть русского, что “Мертвый дом” <...>» [Щедрин: 245, 236].

В течение всего столетия литература была ареной напряженной идеологической борьбы. Уже с момента создания первого цензурного Устава в 1804 г., являясь практически единственным рупором общественного мнения в стране, печать становилась огромной общественной силой. Цензурные условия стимулировали мощную идеологизацию любой дискуссии, даже самой невинной, которая обретала политизированную направленность. Политизированная литература, политизированная критика, дискуссии между сторонниками и противниками чистого искусства, сторонниками и противниками реформ. «Общество <...> кажется утомленным свободой прежде, чем даже успело её получить. Оно опасается крайностей свободы, не успев насладиться ею», — это Герцен [Герцен 1962: 474]. Но не политикой была обусловлена приведенная мысль — статья А. Герцена называлась «Новая фаза в русской литературе» и представляла литературный обзор. А в одном из писем Н. Огареву он наделяет роман Н. Чернышевского «Что делать?» следующей характеристикой: «форма скверная, язык отвратительный» [Герцен 1962: 538]. Несомненный литературоцентризм свидетельствует о двойном видении: критерием оценки литературных произведений становилось их отношение к решению острых вопросов, а критерием оценки исторической ситуации — характер ее преломления в литературе: «Литература у народа, не имеющего политической свободы, — продолжает Герцен, — единственная трибуна, с высоты которой он может заставить услышать крик своего негодования и своей совести» [Герцен 1937: 391].

Пример тому — издававшиеся Герценом в эмиграции «Колокол» и «Поллярная звезда», издания, которые положили начало «вольной» русской прессе, формировали демократические идеалы международной политики, европейской культуры, боролись со славянофильством, цензурными репрессиями, развивали сатирическую и обличительную публицистику. И уже к концу XIX в. за рубежом функционировало несколько десятков эмигрантских периодических изданий — от либеральных до анархистских и монархических («Стрела», «Свободное слово», «Благонамеренный» в Берлине, «Будущность» в Лейпциге и Париже, «Правдивый» в Лейпциге, «Листок», «Европеец» и многие другие). По данным «Сводного каталога русской нелегальной и запрещенной печати XIX века» только во второй половине XIX в. за границей выходило более 60 наименований русской периодики [Сводный каталог 1982].

И это естественно — ведь по разным подсчетам с 1828 по 1915 г. из России выехало более 4,5 млн человек, т. е. интеллектуальная жизнь России еще задолго до 1917 г. развивалась на двух пространствах, сохраняя в то же время тенденцию к целостности. Культурная и политическая элита русской эмиграции, будучи оппозиционно настроенной по отношению к установившемуся в государстве режиму, всегда полагала, что имеет

право влиять на судьбу исторической родины и ее культуру. Эти задачи обусловили вектор диалога двух ветвей русской культуры, принцип «зеркальности» этого диалога — тексты эмигрантской литературной критики получали мгновенную рефлексию в русской легальной прессе, часто перепечатывались и рецензировались в России (пример этому — полемика М. Каткова и А. Герцена в «Современной летописи», «Русском вестнике»). При этом русская литературная и политическая эмиграция XIX в., вступая в полемику и резко отзываясь о тенденциозной направленности русской литературы, не переставала идентифицировать себя с русской культурой и русским обществом. Будучи символом свободы и вольномыслия, она одновременно выступала в качестве хранителя вечных ценностей, видя в этом свою миссию, которую они и передали в наследство своим последователям.

В этом контексте можно объяснить широкое распространение самых разных подходов к отечественной истории и культуре — от либеральных («Освобождение» П. Милюкова, Париж, 1902–1905) до анархистских («Анархист», Париж, 1907–1910).

Сложившаяся в русской журнальной полемике традиция, связанная с потребностью через оценку литературных произведений откликаться на самые злободневные вопросы современности, воздействовать на мировоззрение читателей, в известной степени оказала влияние на оценку советской литературы эмиграцией и эмигрантской литературы советской критикой.

Не случайно В. Руднев, публикуя в 66-м номере «Современных записок» (1938) письма А. Герцена к дочери, предваряет их предисловием, в котором подчеркивает, что трагическая и одинокая фигура Герцена воспринимается в смысловом поле эмигрантского сознания в качестве символа — его идеи, его издательский опыт, опыт общения с российскими корреспондентами, критический пафос его публикаций, острота полемического пафоса воспринимались эмиграцией как неотъемлемые качества вольной русской прессы.

Анализ этих сложных процессов свидетельствует о том, что постреволюционный диалог двух ветвей русской эмиграции лишь отразил, как в зеркале, типичную для русской литературы остроту борьбы, в ходе которой писатели воспринимались в качестве идейных вождей. Раскол нации после Октября обусловил повышение уровня политизации и тенденциозности литературы и литературной критики как в пространстве эмиграции, так и в метрополии, что заметно по содержанию и направленности многих литературно-художественных журналов, выходящих по разные стороны границы: публицистические статьи, обзоры литературных новинок, рецензии, художественные произведения разных жанров, публикация корреспонденций из России.

Ярким примером может служить творческое наследие таких многогранных и талантливых авторов, как Р. Гуль, М. Слоним, которые наряду с серьезными литературно-критическими и литературоведческими трудами одновременно были авторами социокультурных и политологических трудов. В частности, М. Слониму принадлежат не только такие работы, как «Портреты советских писателей», «Советская литература» (в соавторстве с Д. Риви), множество переводов западной классики, но и такого рода произведения, как «Большевизм с точки зрения русского», «Русские предтечи большевизма», «От Петра Великого до Ленина: история русской общественной мысли» и др.

Еще одним доказательством может служить небольшая выборка из фрагментов литературно-критических статей и рецензий, относящихся к XIX и XX вв., в которой отчетливо прослеживается общность подхода к анализу литературных явлений, стилевые переключки, демонстрирующие власть сложившейся традиции (таблица 1).

Таблица 1

<p>А. Бем: «Литература в России переживает исключительно трудное время. Борьба приходится уже не только за содержание произведения, но и за его форму <...>. Насилие над содержанием литературы ужасно, но не смертельно. Но насилие над формой, как это ни странно, для литературы еще страшнее. Ибо расторгается самая ткань литературы. И следить, как запретная литературная форма пробивается сквозь насильно ей навязанные тиски, необычайно мучительно...» [Бем 1933: 463–464].</p>	<p>А. И. Герцен: «Нельзя не протестовать против ужасных дел и ужасных слов, нельзя отойти от беснующихся сил, от бесчеловечной бойни и еще больше от бесчеловечных рукоплесканий. Может, нам придется вовсе сложить руки, умереть в своем а'parte прежде, чем этот чад образованной России пройдет...» [Герцен 1962: 415].</p>
<p>Г. Адамович: «Донкихотство, обращенное на ветряные мельницы, может быть привлекательно, донкихотство кровавое отвратительно, как бы ни было романтично <...>. Советская литература не оборвалась, а выдохлась. В последние годы она еще продолжала по инерции воевать с призраками — пока не увидела, что дело становится не только устарелым, но и опасным» («Памяти советской литературы» [Адамович 1937: 207].</p>	<p>А. И. Герцен: «Ни одного дарования не принёс с собой этот кровавый прибой, эти свинцовые, чёрные волны. <...> В России нет больше книг; газеты все поглотили» [Герцен 1962: 580].</p>

<p>Г. Адамович: «Свободы не прибавилось, свобода исчезла окончательно. Ослабление надзора и цензуры не могло дать ничего хорошего при наличии незыблемого государственного символа веры, который <...> с каждым годом становился все более двусмысленным или, правильнее сказать безмысленным» [Адамович 1938: 180].</p>	<p>А. И. Герцен: «И. Тургенев вдохновляется страстями и становится человеком политики, пишет тенденциозные романы. Его герои превратились из живых людей в носителей мысли <...>» [Герцен 1962: 528].</p>
<p>Ф. А. Степун: «Но в том-то и значении советской литературы, связанное не с ее талантливостью, а с ее тематической обреченностью, что она принуждает ко второму взгляду, которому в масштабе событий, в их ритмах и скоростях вскрывается страшный смысл совершающегося: смысл взрыва всех смыслов, смысл выхода русской жизни за пределы самой себя, смысл неосмысливаемости всего происходящего гибелью буржуазного строя и насаждением коммунистического» [Степун 2002a: 281].</p>	<p>А. И. Герцен: «Какая-то тревога проникает в душу <...>. Целый мир разлагается и перестраивается...» [Герцен 1962: 580]. И далее: «Но какое состояние, какая пропасть между нашими новыми стремлениями <...> и призраками патриотизма XVII века с его проповедью истребления, крови и виселиц, поддержанной большинством» [Герцен 1962: 518–519].</p>

Даже самый беглый взгляд на характер литературно-критического диалога в отношениях эмиграции и СССР свидетельствует о том, что его основные характеристики органично вписываются в модель полемики в журналах XIX — начала XX вв., наследуя уже сложившиеся за предшествующий период традиции русских эмигрантских изданий, представлявших разнообразный спектр оппозиционной мысли России за границей.

Своеобразным «промежуточным» звеном, являющимся ярким образцом синтеза литературной и общественно-критической сферы, можно считать недолго вышедший журнал «Красное знамя» (1906) под редакцией А. Амфитеатрова. Антимонархическая направленность журнала, его борьба за гласность, мощная литературная основа (публикации произведений Горького, Бальмонта, Волошина, Вас. Немировича-Данченко), обзоры и рецензии вырабатывали особый тип литературной критики, проникнутой полемическим запалом по отношению к выходящим в России произведениям «социально-актуального толка». Во многих отношениях «Красное знамя» может быть сравнимо с «Современными записками» по формату, стилю, пафосу, литературоцентристской направленности с той лишь разницей, что «Записки» выходили в кардинально иной исторической ситуации.

Между тем расслоение критической мысли постреволюционной эмиграции XX в. в оценках советской литературы вовсе не означало наличия «<...> двух разных систем смысловых структур и ценностей русской культуры <...>» [Кондаков 2003: 361–362]. Вполне очевидно, что «мессианский миф», с которым связывали мировоззрение русской эмиграции, на самом деле складывался уже с первых шагов вольной русской прессы за границей. Напомним, что уже с момента введения цензурного Устава 1804 г., а особенно цензурного законодательства 1862 г. велась борьба с оппозиционной периодикой через поддержку проправительственных изданий и проправительственной литературной критики, что во многом и отражало системность «дихотомической» модели культуры в литературной борьбе. Поэтому, как представляется, не случись революции и эмиграции, картина литературной полемики разворачивалась бы внутри России точно в таком же «изводе», и, таким образом, как это ни парадоксально, через резкую полемику с советской литературой и идеологией эмигрантская мысль, будучи вторым «ядром» дихотомии, обретала искомую целостность с родной культурой, ощущая себя ее неотъемлемой частью. Через оценку советских писателей эмиграция не только всматривалась в то новое, что складывалось в России, но и считала своим долгом влиять на своих соотечественников; отсюда и свойственный эмигрантской критике характер историзма (русская культура была по природе своей культурой *исторической*), которому зачастую приносился в жертву эстетический фактор — то, что Л. Геллер обозначил (правда, по другому поводу) как «ритуализация критического акта» [Геллер: 442].

Показательно в этом отношении печально известное эссе советского критика Анат. Дивильковского, опубликованное в журнале «Печать и революция» (1926, № 6–7). Критик, с пафосом обрушиваясь на «Современные записки» и сравнивая этот журнал с «Волей России», применяет к их анализу критерий в духе ортодоксального деления по политическому признаку. Автор не выбирает выражений при характеристике «Современных записок», который, по его мнению, представляет «коллекцию язва», и обвиняет его в «исторической лжи», «балаганности», «большевизме» [Дивильковский: 9–27.].

Примечательна также реакция советской критики на выход первого номера «Верст-1». А. Воронский в журнале «Прожектор» (1926, № 18), с удовлетворением констатируя интерес эмиграции к советской литературе, тем не менее считает «Версты» изданием «сомнительным», «благие пожелания и намерения» которого «<...> не только не могут принести пользы, но могут оказаться прямо вредными, содействуя росту сменовеховских, узко-националистических настроений среди колеблющейся части наших писателей» [Воронский: 19]. С другой стороны, размышления о художественности в эмигрантской критике тоже вводятся в идеоло-

гический контекст, а литературная критика смыкается с публицистикой. В частности, Ю. Фельзен в «Числах» в оценке «Тихого Дона» М. Шолохова подчеркивает «мертвость большевистски благонамеренных типов» и «жизненность, любовное изображение “типов контрреволюционных”, а также “вялость” всего “неказачьего”» [Фельзен: 240]. Ю. Мандельштам в рецензии на литературный раздел «Красной Нови» в том же номере «Чисел» говорит о «социальном задании» и штампах, бездарности большинства поэтов, случайности поэтической образности, неудачах Л. Леонова, П. Павленко и одновременно эмоционально спорит с советским критиком М. Добрыниным по поводу обвинения К. Федина в «мещанстве» в духе вульгарно-социологического канона [Мандельштам: 220]. М. Цетлин, рецензируя советскую «Красную Новь» и комментируя либеральный курс журнала, отраженный в его художественном отделе, с одной стороны, отмечает «более или менее талантливую бытовую беллетристику», с другой — не отходит от традиционной идеологемы: «<...> мы должны, оставаясь твердыми в своем, хорошо знать чужое и враждебное, чтобы когда-нибудь, на еще неведомых путях, его победить» [Цетлин: 483].

Как явствует приведенный анализ специфики культурного диалога, советская культура и культура эмиграции оставались литературоцентричными, и это во многом сближало обе ветви и определяло вектор их оценок. Их сближали также такие явления, как идея мессианства, построение утопических (или антиутопических) моделей, тяга к мифотворчеству (пассеистической направленности у эмигрантов, футурологической — у советских авторов), высокая степень графоманства... И в СССР, и в русском зарубежье были просоветски и антисоветски настроенные писатели и критики. Так, И. Ильин резко высказывался об Ахматовой, находя в ее строчках элемент «развязности», а Маяковского называл «одним из безобразнейших хулиганов-рифмачей», «бесстыдным орангутангом», «<...> гнусные строчки которого вызывали в нас стыд и отвращение» [Ильин]. П. Муратов, обладающий определенной лояльностью, тонким художественным чутьем и интуицией, также нелицеприятен и категоричен в оценках: «Проза революционной России нисколько в общем не революционна, а или болезненно упадочна <...> или упряма в своем консерватизме <...> Передовой в смысле искусства или новаторской она не является ни в какой степени и ни в какой мере...» [Муратов: 246].

Формирование культурной модели релятивизма в границах оппозиции «свой — другой».

Размежевавшись по разные стороны границы, русская литература и литературная критика, концентрируя в себе высокую степень полемического огня и противостояния, в реальности демонстрировали как раз историческую цельность и взаимное тяготение. Это очень хорошо понимали некоторые представители эмигрантской критики: в частности, в «Русских

записках» Г. Адамович иронически заметил по этому поводу: «Можно было бы написать стройную с виду историю советской литературы: в первом случае это была бы история сотрудничества, история процветания всякого рода литературных ростков под благодетельным руководством сверху... Во втором — история борьбы и сопротивления» [Адамович 1938: 176–177]. Но эту формулу можно отнести и к эмигрантской литературе, где тоже сформировались противоположные точки зрения на советскую литературу и, соответственно, на значимость эмигрантской, хотя и там и там, по аргументированному наблюдению Е. Эткинда, поэзия (и не только поэзия) отличалась выраженной политизированностью [Эткинд: 9–30].

В то же время эмигрантская критика не учитывала вполне объективного фактора — социокультурную ситуацию и формирующуюся как на Западе, так и в Советском Союзе и набирающую силу массовую культуру. Стремительное развитие культуры массового спроса в России и на Западе, сопряженное с политизированной почвой, еще более отодвигало читающую публику от эстетических запросов. Не случайно Троцкий утверждал, что толстые журналы были «<...> лабораториями, в которых вырабатывались идейные течения: отсюда они получали свое общественное движение» [Троцкий: 3]. А в русской интеллектуальной истории они укрепили деление общественной мысли на либеральную и консервативную (реакционную), каждая из которых высказывалась не только по политическим проблемам, но и по литературным... Это обстоятельство способствовало тенденциям к сравнениям и параллелям, связанным с XIX в., как, например, у Р. Гуля. Характеризуя структуру подавления литературного творчества в Советском Союзе (Главлит, Культпроп, Литконтроль ОГПУ), автор сравнивает ее с состоянием цензуры в дореволюционной России, отмечая при этом, что в царской России уже происходило превращение цензуры «<...> из органа предварительного просмотра всего предполагаемого к печати материала в карающий орган надзора за уже вышедшими изданиями» [Гуль 1938: 439]. Однако государственный аппарат СССР довел наметившуюся тенденцию (которую Гуль называет «кустарной») до крайности, о чем свидетельствуют карательная система и судьбы писателей в Советском Союзе.

Со временем устоявшаяся в эмиграции модель оппозиции «свой — чужой» постепенно трансформируется в оппозицию «свой — другой» и выражается в стремлении понять (а в каких-то аспектах и *оправдать*) советское искусство. Как представляется, одним из факторов, определивших появление подобных взаимоисключающих тенденций в оценке советской литературы эмиграцией, стало формирование культурной модели релятивизма, характерной в целом для западноевропейского сознания.

Так, П. Н. Милюков уже в 1930 г. на литературном вечере в честь журнала «Числа» поставил в вину части литераторов эмиграции то, что они

в отличие от литературы в России слишком оторваны от жизни. Заслуживает внимания и суждение В. Ходасевича, который в статье «Литература в изгнании» (1933) говорил о том, что «обе половины русской литературы ещё живут, подвергаясь мучительствам, разнородным по форме и по причинам, но одинаковым по последствиям» [Ходасевич: 466].

Подтверждением может также служить и литературно-критический цикл «Письма о литературе» в «Молве» А. Бема (1932), упрекавшего эмигрантскую критику в «жеваном языке», отсутствии остроты, «сонности» мысли. В своем пассаже из фрагмента «Магический реализм» автор вступает в полемику с С. Шаршуном по поводу его термина «магический реализм», который тот применяет к эмигрантской литературе, и при этом высказывает мысль о том, что в отличие от эмигрантской литературы советская литература опирается на современность и реальную жизнь: «Ни магии, ни мистики здесь нет. <...> литература советская всегда чем-то задевает, как-то волнует, а даже очень литературно высокие достижения эмигрантской литературы оставляют холодными, не трогают» [Бем 1932: 2]. Г. Адамович, говоря о К. Вагинове, находит в советской литературе «остро враждебную беллетристику», в то же время удивляющую «неподдельной, глубокой взволнованностью» [Адамович 1923: 2]. А в обзоре 1938 г. Г. Адамович даже называет советский период русской литературы «страдальческим», проявляя лояльность к творчеству Ю. Германа и Л. Леонова [Адамович 1938: 240–259].

Попытку достаточно сложного восприятия советской литературы представляет и статья Ф. Степуна «Советская и эмигрантская литература 1920-х годов». Возлагая на эмиграцию вину за ситуацию в России («погубили старую Россию, не плакать же о большевистской <...>») и разделяя «советскую литературу» и «советский строй» (по его мнению, это «непримиримые враги»), автор призывает к необходимости учитывать реалии культурной жизни России. Он критически высказывался о тех эмигрантах, которые считали, что в Советской России все делается «<...> во вред России и во славу большевиков, и лишь то, что делается или даже не делается в эмиграции, делается во славу России и на смерть большевикам <...> Причем в качестве России утверждается ее прошлое, эмигрировавшее на Запад; настоящего же в России пока нет, так как им завладели большевики» [Степун 1962: 199].

Исследуя причины ненависти эмиграции к России, Ф. Степун приходит к выводу, что беженцы, как и сами большевики, с одинаковой силой отвергают нынешнюю настоящую Россию, одни — во имя прошлого, другие — во имя утопических идей будущего. Между тем настоящая Россия — это синтез прошлого и будущего. Принципиально важен для автора тезис, что «<...> советская литература вырабатывается отнюдь не в идеологических лабораториях коммунизма, а вопреки ему и в обличении его орга-

нически вырастает из того опыта развала, распада, страдания и безумия, в котором крутится сейчас Россия» [Степун 2002: 285].

М. Слоним в полемике с З. Гиппиус признается, что, «как ни была бледна русская литература за пережитые шесть лет, все новое, значительное, интересное, что она дала, пришло из России, а не из-за границы» [Слоним: 57].

С ослаблением резкого полемического запала подобных суждений становилось все больше. Пример тому — Г. Струве, который в известном исследовании «Russian Literature under Lenin and Stalin. 1917–1953» (1971) достаточно убедительно выделяет на фоне политизации литературного дела, жесткого контроля со стороны партийных и карательных органов действительно оригинальные произведения, заслуживающие внимания западного читателя в силу свежести и оригинальности видения. Обращение к творчеству советских писателей приводило Г. Струве к мысли, что советский период в литературном отношении не был пустым, он ввел в мировую литературу немало блестящих художников слова, произведений, которые отличались оригинальностью стиля, свежестью взгляда и поэтому, несомненно, заслуживали быть переведенными и читаемыми за рубежом. В то же время Г. Струве отказывал Советской России в «большой литературе» (в системном плане), которая не может сформироваться в условиях подавления свободы [Струве 1971]. Об этом, кстати, в свое время писал и Герцен в статье «Новая фаза русской литературы», где утверждал, что русская литература гибнет, захлебнувшись в «кровавом прибое» террора... [Герцен 1937: 417–441] Эта идея оказалась востребованной таким идейным течением пореволюционной эмиграции, как евразийство. Уже в первом евразийском сборнике «Исход к Востоку» (1921) авторы многократно цитировали Герцена, а Г. Флоровский посвятил ему свою магистерскую диссертацию. Во многом не без влияния евразийства, идеи которого были глубоко укоренены в русской национальной традиции, литературная критика эмиграции оценивала советскую литературу сквозь призму «пассионарности» русской культуры, о чем в процессе интерпретации и оценки русской классики размышлял в свое время и А. Герцен, наделяя ее особым свойством в сравнении с западноевропейской литературой: «Литература у народа, политической свободы не имеющего, — единственная трибуна, с высоты которой он может заставить услышать крик своего негодования и своей совести» [Герцен 1937: 391].

В контексте новой художественно-эстетической стратегии конца 1930-х гг. может быть осмыслена полемика (как прямая, так и косвенная) вокруг советской литературы в периодике эмиграции второй половины 1930-х гг. В кругу этой полемики заслуживает внимания диалог Г. Адамовича на страницах «Русских записок» [Адамович 1937: 207–210] и Е. Кусковой в «Последних новостях» [Кускова: 2–3].

Эмоциональный пафос Г. Адамовича на тему «поминки по советской литературе» отражал рефлексию эмиграции на «духовный перелом» как знак тоталитарной эпохи. Двадцатые годы автор характеризует как «страдающий и духовно-серьезный период русского творчества», несмотря на бедность и наивность приемов, торопливость и грубость, придавленность «творческой личности». Однако это и было тем, что называлось «советской литературой», у истоков которой стояла поэма А. Блока «Двенадцать». При этом под советской литературой Г. Адамович понимал только литературу революционного периода, насыщенного энтузиазмом, искренностью писателей в порыве создания новых форм творчества, что не встречало запретов «сверху» и не подвергалось регламентации, как это случилось позже.

Е. Кускова в ответной реплике не столько полемизирует (в прямом смысле) с Г. Адамовичем, сколько пытается обозначить еще одну важную основу формирования литературного сознания советского писателя — социально-историческую, в границах которой просматриваются более отдаленные факторы: в частности, она упоминает народническую художественную литературу как «памятник» разночинной интеллигенции, которая, имея богатый опыт понимания крестьянства, не сформировала, однако, опыта общения с пролетариатом. Основной вывод автора заключался в том, что «<...> диалектический материализм, примитивно понимаемый, и погубил духовную культуру пролетариата и связавшей себя с ним интеллигенции» [Кускова: 2], что, в свою очередь, объясняется «ложно-марксистским» презрением к роли таких «вторичных факторов», как политика, духовная жизнь, психология, право и т. д., а также апологетикой «первичного фактора» — экономики. В качестве аргументации Е. Кускова приводит опубликованное в «Социалистическом вестнике» (1937, № 2) письмо Энгельса к Блоху (1890), где адресант признается в односторонности марксизма по отношению к признанию первичности экономического фактора. Этот фактор, по мнению Е. Кусковой, оказал решающее влияние на развитие вульгарного социологизма в русской литературе: «<...> чугунные и стальные гиганты, заводы и фабрики <...> и тут же — человек с чугунными мозгами и стальным сердцем, непроницаемый ни для каких идей и ни для каких чувств и восприятий» [Кускова: 2].

Но уже спустя год Г. Адамович в большом обзоре «Литература в СССР» в рамках серьезного аналитического обзора, оставаясь в русле собственной концепции, если и не смещает акценты, то по крайней мере учитывает множественность факторов развития литературного процесса в СССР и, что особенно важно в данном контексте, делает это уже с позиций целостности русской литературы (возможно, под влиянием прошедшего годом ранее пушкинского юбилея с его мощным общекультурным и историческим резонансом) [Адамович 1938]. Учитывая, что к названной статье

Адамовича достаточно часто обращаются исследователи его литературно-критического творчества, обратим внимание только на одно обстоятельство: говоря об окончательном уничтожении свободы в СССР, критик предостерегает эмиграцию от «обычных и стереотипных эмигрантских сарказмов» [Адамович 1937: 184], потому что у миллионов безграмотных людей, «вовлеченных в культурную жизнь революцией», уровень художественных требований таких художников, как, например, Шостакович и Пастернак, вызывает раздражение и непонимание. На этой волне понятия «народность» и «простота» стали метафорой «испорченного» вкуса. И здесь Г. Адамович в какой-то степени переключается с Е. Кусковой в понимании истоков «бесплодия провиденциального класса».

В огромном мире откликов, рецензий и эссе, посвященных советской литературе, пожалуй, наибольшую ценность для филолога представляют исследования, в которых предпринимается попытка серьезного анализа произведений советской литературы, ее проблематики и поэтики, жанра. В сравнении с гораздо более поздними монографиями и статьями, исследующими советскую литературу как художественный текст, «первая» эмиграция сохраняла в подходе к советской литературе элемент публицистичности и тенденциозности (на фоне обстоятельных и глубоких интерпретаций русской классики К. Мочульского, М. Алданова, К. Зайцева и др.). Вместе с тем в материалах Ф. Степуна, М. Слонима, П. Муратова мы отмечаем не только «обзорноориентированный» подход, но и попытку проникнуть в специфику жанрово-стилевых доминант произведений советских авторов.

В контексте обозначенной темы обращает на себя внимание достаточно обстоятельное (несмотря на обзорный характер) исследование Ю. Сазоновой (Слонимской) [Сазонова: 493–506]. С учетом времени написания статьи, выбора ее проблематики, методологии анализа она и сегодня воспринимается как серьезный опыт проникновения в поэтику текста. Блестящий режиссер-кукольщик, театровед, литературный критик, Ю. Сазонова оставила интересное творческое наследие, которое еще ждет своего исследователя.

Анализируя концепцию смерти в творчестве таких писателей, как А. Фадеев, Л. Фибих, М. Казаков, М. Алексеев, Б. Лавренев, Е. Полонский, М. Слонимский, В. Катаев, автор касается экзистенциальной сущности танатологических мотивов, проявляющейся в гипертрофированно-натуралистической образности, гиперболизации, «реалистического бреда» экспрессионистических деталей, подсознательных страхах, переходящих в чувство кошмара, которое владеет современным русским писателем. Представляя обстоятельный анализ рассказа Л. Фибиха «Колосья в крови» из сборника «Апельсиновые гетры» (1927), Ю. Сазонова отмечает ряд стиливых тенденций, свойственных новому типу художе-

ственного письма (характерного, например, и для других советских писателей): в частности, в сцене убийства читатель не видит ни убивающего, ни убиваемого, а лишь подробности, «сгущающие впечатление убийства» (например, превращение живой руки в мертвую) [Сазонова: 496]. В анализе другого рассказа («Святыни») автор подчеркивает использование принципа монтажной поэтики в описании событий. Кроме того, интерпретация рассказов представлена в ракурсе режиссерского видения и наделена элементами режиссерской экспликации отдельных сцен, их художественного решения. В глубоком осмыслении поставленных писателями проблем Ю. Сазонова обнаруживает современную трансформацию идеи «права убивать», продолжающей традицию русской классики (Л. Толстой, Ф. Достоевский). В качестве подтверждения приводится цитата из романа В. Кина «По ту сторону», где герой-коммунист говорит: «Красные убивали белых, белые убивали красных, и все это было необычайно просто», — а когда он прочитал «Преступление и наказание», то, «дочитав до конца, удивился — столько разговоров только из-за одной старухи!» [Сазонова: 499].

И здесь следует обратить внимание на глубокий анализ Ю. Сазоновой рассказов М. Казакова «Абрам Нашатырь, содержатель гостиницы» и «Мещанин Адамейко», связанных общей проблематикой. «Веселое убийство» попугая («Абрам Нашатырь, содержатель гостиницы») и убийство старухи («Мещанин Адамейко») — это события одного ряда. Второй из рассказов рассматривается в поле культурного диалога с Ф. Достоевским. Для нашего разговора об идентичности это обстоятельство чрезвычайно важно, потому что писатель, с одной стороны, сознательно подражая Достоевскому в «теоретическом» осмыслении экзистенциальной ситуации и стилиевой манере, в то же время размышляет об эпохе, в которой «право убивать» было столь же естественным и благородным во имя революции делом, когда «разрезаны все логические и моральные нити, связывавшие воедино элементы человеческого существования. И они рассыпались отдельными непонятными ключьями, как разрозненное вакханками тело», потому что «через кровь чью-то справедливости искать нельзя», — цитирует писателя Ю. Сазонова [Сазонова: 503]. Не случайны, по наблюдениям исследовательницы, антропонимические сближения с героями Достоевского: так, Ардальон Порфильевич Адамейко, наделенный чертами Смердякова, содержит в своем имени аллюзии сразу на несколько «достоевских» имен, что само по себе символично, да еще с уменьшительно-презрительным «Адамейко» впридачу (как знак окончательного низвержения «сына человеческого»). При этом Ю. Сазонова отмечает не только органическую связь советского писателя с классической русской литературой, но и слышит в произведениях «воплъ автора о спасении». Кроме диалога с Достоевским, критик рассматривает особенности «гоголевского текста»

русской литературы — в синтезе натуралистического гротеска с мистикой, с одной стороны, и неправдоподобием, сопряженным с «бредовой убедительностью» «реалистического кошмара», — с другой: «русскому человеку, когда пьян, совсем нельзя петь. После песни ему всегда хочется смерти» [Цит. по: Сазонова: 502].

Выводы. Как следует из приведенного материала, сложность и многообразие интерпретаций советской литературы русской эмиграцией были обусловлены множеством факторов, среди которых одним из главных был исторический фактор, определивший дихотомию «свое — чужое» в установлении национально-культурной идентичности, объединяющей обе ветви русской литературы. Как явствует из содержания литературно-критических и литературоведческих статей в эмигрантских изданиях в их сопоставлении с русской классической традицией, позиция эмиграции претерпевала определенную эволюцию — от «навешивания» идеологических ярлыков до серьезного и вдумчивого анализа. Этому в том числе способствовало и внимательное обращение к русской литературно-критической мысли и публицистике. Во многом именно постоктябрьская эмигрантская критика определила интерес к советской культуре и выработала научно-исследовательские критерии последующего серьезного анализа русской и советской литературы в работах В. Левина, Ж. Нива, М. Окутюрье, Ж.-К. Ланна, Г. Струве, Е. Эткинда, В. Лосской, К. Кларк, Ю. Соумела и др.

Литература

Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы. Москва: Наука, 1977. 476 с.

Адамович Г. Литература в СССР // Русские записки. 1938. № 7. С. 240–259.

Адамович Г. Памяти советской литературы // Русские записки. 1937. № 2. С. 206–214.

Адамович Г. Поэты в Петербурге // Звено. 1923. 10 сентября. № 32. С. 2.

Бахтин М. Человек у зеркала // Бахтин М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. Москва: Азбука, 2000. С. 240–241.

Белый А. Символизм как миропонимание. Москва: Республика, 1994. 528 с.

Бем А. Виктор Шкловский: поиски оптимизма // Современные записки. 1933. № 52. С. 462–464.

Бем А. Письма о литературе: Магический реализм // Молва. 1932. 2 октября.

Бердяев Н. Душа России // Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. Москва, 1918. С. 1–29.

Бунин И. Окаянные дни. Воспоминания. Статьи. Москва: Советский писатель, 1990. 414 с.

Воронский А. Версты полосатые // Прожектор. 1926. № 18. С. 18–19.

Геллер Л. Эстетические категории и их место в соцреализме ждановской эпохи // Соцреалистический канон / Ред. Х. Гюнтер, Е. Добренко. Москва: Академический проект, 2000. С. 434–447.

Герцен А. И. Избранные произведения. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1937. 398 с.

Герцен А. И. О литературе. Москва: Государственное издательство художественной литературы, 1962. 647 с.

Гуль Р. Одвуконь: Советская и эмигрантская литература. Нью-Йорк: Мост, 1973. 322 с.

Гуль Р. Цензура и писатель в СССР // Современные записки. 1938. № 66. С. 438–449.

Делёз Ж. Различие и повторение. Санкт-Петербург: ТОО ТК «Петрополис», 1998. 384 с.

Дивильковский А. Самочувствие эмиграции (Обзор второй – «Современные записки») // Печать и революция. 1926. № 8. С. 9–27.

Иванов Вяч. Вс. Дуальные структуры в антропологии. Москва: Изд-во РГГУ, 2008. 332 с.

Ильин И. Когда же возродится великая русская поэзия? // Критика русского зарубежья: В 2 т. Т. 1 / Под ред. О. Коростелева. Москва: Олимп, 2002 URL: https://imwerden.de/pdf/ilijn_russkaya_poeziya.pdf.

Кондаков И. По ту сторону слова (кризис литературоцентризма в России XX–XXI веков) // Вопросы литературы. 2008. № 5. С. 5–44.

Кондаков И. В. Культурология. История культуры России. Москва: Высшая школа, 2003. 615 с.

Коростелев О. А. От Адамовича до Цветаевой: Литература, критика, печать Русского зарубежья. Санкт-Петербург: Издательство им. Н. И. Новикова; Издательский дом «Галина скрипит», 2013. 492 с.

Кускова Ек. Вторичные факторы // Последние новости. 1937. 1 декабря.

Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Труды по русской и славянской филологии XXVIII: Литературоведение. К 50-летию профессора Бориса Федоровича Егорова. Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1977. С. 3–36.

Мандельштам Ю. «Красная Новь» // Числа. 1930. № 1. С. 220.

Муратов П. Искусство прозы // Современные записки. 1926. № 29. С. 240–259.

Нива Ж. Возвращение в Европу. Статьи о русской литературе. Москва: Высшая школа, 1999. 304 с.

Полекина М. М. Художественные искания в русской поэзии первой трети XX века (М. Цветаева и В. Маяковский: Художественная космогония). Москва: Прометей, 2002. 308 с.

Сазонова Ю. Тема смерти в современной советской литературе // Современные записки. 1928. № 35. С. 493–506.

Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века: В 3 ч. Ч. 2: Периодические издания. Москва: Гос. б-ка им. В. И. Ленина, 1982. 232 с.

Слоним М. Литературные отклики: Живая литература и мертвые критики // Воля России. 1924. № 4. С. 53–63.

Сорокина В. В. Литературная критика русского Берлина 20-х годов XX века. Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2010. 328 с.

Степун Ф. А. И. А. Бунин и русская литература // Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 1 / Сост. О. Коростелев. Москва: Аст-Олимп, 2002. С. 264–275.

Степун Ф. А. Пореволюционное сознание и задача эмигрантской литературы // Критика русского зарубежья: В 2 ч. Ч. 1 / Сост. О. Коростелев. Москва: Аст-Олимп, 2002. С. 246–263.

Степун Ф. А. Советская и эмигрантская литература 20-х годов // Ф. Степун. Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. 203 с.

Столович Л. Н. Зеркало как семиотическая, гносеологическая и аксиологическая модель // Ученые записки Тартуского ун-та. Вып. 831. Тарту, 1988. С. 45–52.

Струве Г. Русская литература в изгнании. 3-е изд. Париж: YMCA-Press; Москва: Русский путь, 1996. 448 с.

Струве Г. Русская литература при Ленине и Сталине. 1917–1953 гг. // Грани. 1971. № 82. С. 218–222.

Троцкий Л. Судьба толстого журнала // Киевская мысль. 1914. 16 марта.

Федотов Г. Судьба и грехи России: Избранные статьи по философии русской истории и культуры: В 2 т. Т. 1. Санкт-Петербург: София, 1991. 216 с.

Фельзен Ю. М. Шолохов. «Тихий Дон» // Числа. 1930. № 1. С. 239–240.

Флоровский Г. В. О патриотизме праведном и греховном // На путях: Утверждение евразийцев. Кн. 2. Москва — Берлин: Геликон, 1922. С. 230–293.

Ходасевич В. Литература в изгнании // Колеблемый треножник. Москва: Советский писатель, 1991. С. 466–473.

Цетлин М. «Красная Новь». Журнал. Январь — май 1925 // Современные записки. 1925. № 25. С. 477–484.

Щедрин Н. О литературе. Москва: Художественная литература, 1952. 700 с.

Эткинд Е. Г. Русская литература как единый процесс // Одна или две русских литературы. Материалы международного симпозиума. Lausanne: Ed. L'Âged'Homme, 1981. С. 9–30.

References

Averincev S. S. Poetika rannevizantijskoj literatury. Moskva: Nauka, 1977. 476 s.

Adamovich G. Literatura v SSSR // Russkie zapiski. 1938. № 7. S. 240–259.

Adamovich G. Pamyati sovetskoj literatury // Russkie zapiski. 1937. № 2. S. 206–214.

Adamovich G. Poety v Peterburge // Zveno. 1923. 10 sentyabrya. № 32. S. 2.

Bakhtin M. Chelovek u zerkala // Bakhtin M. Avtor i geroj: k filosofskim osnovam gumanitarnykh nauk. Moskva: Azbuka, 2000. S. 240–241.

Belyj A. Simvolizm kak miroponimanie. Moskva: Respublika, 1994. 528 s.

Bem A. Viktor Shklovskij: poiski optimizma // Sovremennye zapiski. 1933. № 52. S. 462–464.

Bem A. Pis'ma o literature: Magicheskij realizm // Molva. 1932. 2 oktyabrya.

Berdyayev N. Dusha Rossii // Sud'ba Rossii. Opyty po psikhologii vojny i nacional'nosti. Moskva, 1918. S. 1–29.

Bunin I. Okayannye dni. Vospominaniya. Stat'i. Moskva: Sovetskij pisatel', 1990. 414 s.

Voronskij A. Versty polosatye // Prozhektor. 1926. № 18. S. 18–19.

Geller L. Esteticheskie kategorii i ikh mesto v socrealizme zhdanovskoj epokhi // Socrealisticheskij kanon / Red. Kh. Gyunter, E. Dobrenko. Moskva: Akademicheskij proekt, 2000. S. 434–447.

Gercen A. I. Izbrannye proizvedeniya. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury, 1937. 398 s.

Gercen A. I. O literature. Moskva: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury, 1962. 647 s.

Gul' R. Odvukon': Sovetskaya i emigrantskaya literatura. N'yu-York: Most, 1973. 322 s.

Gul' R. Cenzura i pisatel' v SSSR // Sovremennye zapiski. 1938. № 66. S. 438–449.

Delyoz Zh. Razlichie i povtorenie. Sankt-Peterburg: TOO TK "Petropolis", 1998. 384 s.

Divil'kovskij A. Samochuvstvie emigracii (Obzor vtoroj — "Sovremennye zapiski") // Pechat' i revolyuciya. 1926. № 8. S. 9–27.

Ivanov Vyach. Vs. Dual'nye struktury v antropologii. Moskva: Izd-vo RGGU, 2008. 332 s.

Il'in I. Kogda zhe vozrozditsya velikaya russkaya poeziya? // Kritika russkogo zarubezh'ya: V 2 t. T. 1 / Pod red. O. Korosteleva. Moskva: Olimp, 2002
URL:http://imwerden.de/pdf/ilijn_russkaya_poeziya.pdf.

Kondakov I. Po tu storonu slova (krizis literaturocentrizma v Rossii XX–XXI vekov) // *Voprosy literatury*. 2008. № 5. S. 5–44.

Kondakov I. V. Kul'turologiya. Istoriya kul'tury Rossii. Moskva: Vysshaya shkola, 2003. 615 s.

Korostelev O. A. Ot Adamovicha do Czvetaevoj: Literatura, kritika, pechat' Russkogo zarubezh'ya. Sankt-Peterburg: Izdatel'stvo im. N. I. Novikova; Izdatel'skij dom "Galina skripsit", 2013. 492 s.

Kuskova Ek. Vtorichnye faktory // *Poslednie novosti*. 1937. 1 dekabrya.

Lotman Yu. M., Uspenskij B. A. Rol' dual'nykh modelej v dinamike russkoj kul'tury (do koncza XVIII veka) // *Trudy po russkoj i slavyanskoj filologii XXVIII: Literaturovedenie. K 50-letiyu professora Borisa Fedorovicha Egorova*. Tartu: Izd-vo Tartuskogo un-ta, 1977. S. 3–36.

Mandel'shtam Yu. "Krasnaya Nov'" // *Chisla*. 1930. № 1. S. 220.

Muratov P. Iskusstvo prozy // *Sovremennye zapiski*. 1926. № 29. S. 240–259.

Niva Zh. Vozvrashhenie v Evropu. Stat'i o russkoj literature. Moskva: Vysshaya shkola, 1999. 304 s.

Polekhina M. M. Khudozhestvennye iskaniya v russkoj poezii pervoj treti XX veka (M. Czvetaeva i V. Mayakovskij: Khudozhestvennaya kosmogoniya. Moskva: Prometej, 2002. 308 s.

Sazonova Yu. Tema smerti v sovremennoj sovetsoj literature // *Sovremennye zapiski*. 1928. № 35. S. 493–506.

Svodnyj katalog russkoj nelegal'noj i zapreshhennoj pechati XIX veka: V 3 ch. Ch. 2: Periodicheskie izdaniya. Moskva: Gos. b-ka im. V. I. Lenina, 1982. 232 s.

Slonim M. Literaturnye otkliki: Zhivaya literatura i mertvye kritiki // *Volya Rossii*. 1924. № 4. S. 53–63.

Sorokina V. V. Literaturnaya kritika russkogo Berlina 20-kh godov XX veka. Moskva: Izd-vo Mosk. un-ta, 2010. 328 s.

Stepun F. A. I. A. Bunin i russkaya literatura // *Kritika russkogo zarubezh'ya: V 2 ch. Ch. 1 / Sost. O. Korostelev*. Moskva: Ast-Olimp, 2002. S. 264–275.

Stepun F. A. Porevolucionnoe soznanie i zadacha emigrantskoj literatury // *Kritika russkogo zarubezh'ya: V 2 ch. Ch. 1 / Sost. O. Korostelev*. Moskva: Ast-Olimp. S. 246–263.

Stepun F. A. Sovetskaya i emigrantskaya literatura 1920-kh godov // *F. Stepun. Vstrechi*. Myunkhen: Tovarishhestvo zarubezhnykh pisatelej, 1962. 203 s.

Stolovich L. N. Zerkalo kak semioticheskaya, gnoseologicheskaya i aksiologicheskaya model' // *Uchenye zapiski Tartuskogo un-ta. Vyp. 831*. Tartu, 1988. S. 45–52.

Struve G. Russkaya literatura v izgnanii. 3-e izd. Parizh: YMCA-Press; Moskva: Russkij put', 1996. 448 s.

Struve G. Russkaya literatura pri Lenine i Staline. 1917–1953 gg. // *Grani*. 1971. № 82. S. 218–222.

Troczkij L. Sud'ba tolstogo zhurnala // *Kievskaya mysl'*. 1914. 16 marta.

Fedotov G. Sud'ba i grekhi Rossii: Izbrannye stat'i po filosofii russkoj istorii i kul'tury: V 2 t. T. 1. Sankt-Peterburg: Sofiya, 1991. 216 s.

Fel'zen Yu. M. Sholokhov. "Tikhij Don" // Chisla. 1930. № 1. S. 239–240.

Florovskij G. V. O patriotizme pravednom i grekhovnom // Na putyakh: Utverzhdenie evrazijcev. Kn. 2. Moskva — Berlin: Gelikon, 1922. S. 230–293.

Khodasevich V. F. Literatura v izgnanii // Koleblemyj trenochnik. Moskva: Sovetskij pisatel', 1991. S. 466–473.

Cetlin M. "Krasnaya Nov' ". Zhurnal. Yanvar' — maj 1925 // Sovremennye zapiski. № 25. S. 477–484.

Shhedrin N. O literature. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1952. 700 s.

Etkind E. G. Russkaya literatura kak edinyj process // Odnа ili dve russkikh literatury. Materialy mezhdunarodnogo simpoziuma. Lausanne: Ed. L'Аged'Homme, 1981. S. 9–30.

Сведения об авторе: Нина Осиповна Осипова; доктор филологических наук; профессор; Вятский государственный университет, профессор кафедры культурологии; ORCID 0000-0002-9247-9279; nina.osipova@list.ru; сфера научных интересов: литература русской эмиграции, русская поэзия XX в.

The author's profile: Nina Osipovna Osipova; Doctor of Philology; Professor; Vyatka State University, Professor at the Department of Cultural Studies; ORCID 0000-0002-9247-9279; nina.osipova@list.ru; research interests: literature of Russian emigration, semiotics, Russian poetry of the 20th century.